

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

В.В. Люкевич (Могилев, МГУ им. А. Кулешова)

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ И ЯКУБ КОЛАС: ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СХОЖДЕНИЯ

По свидетельству Якуба Коласа, Федор Михайлович Достоевский, как и другие выдающиеся русские писатели и поэты Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов, знаком ему был только из чтения [1, т.12, с. 72]. В восторженной любви к величайшему из русских прозаиков Колас впервые признался в письме к С. Городецкому от 3 декабря 1947 года: «Вышэй па таленту за Дастаеўскага ў свеце няма пісьменніка. Дастаеўскі наш, Дастаеўскаму, калі трэба, ўсё неабходна дараваць, маючы на ўвазе, што ўсё жыццё Ф.М. было накіравана на карысьць чалавека, а не сістэмы». Эту восторженную оценку гения Колас повторил на последней странице своего дневника: «Хацелася б, хоць і ў сне, сустрэцца з Дастаеўскім: на свеце няма пісьменніка, роўнага Дастаеўскаму» [1, т.12, с. 511]. Даже во времена оголтелого порицания «достоевщины» (запись сделана 2 декабря 1951 года) в СССР белорусский классик остался искренним и бесстрашным поклонником писательского гения Достоевского. Исследуя творческие контакты Коласа в начале писательского пути с русскими классиками, И. Чигрин резонно заметил: «Колас бачыў, разумеў, хто самы вялікі ў сусветным літаратурным працэсе свайго часу, на каго можна арыентавацца, з кім можна спаборнічаць, але не ў меншай ступені ведаў і тое, што сам ён прадстаўнік народа, літаратура якога толькі-толькі атрымала магчымасць для развіцця, што відавочныя традыцыі ў ёй нязначныя, без чаго пры самым вялікім таленце за Л. Талстым і Ф. Дастаеўскім не ўгнацца» [2, с. 28]. Поэтому в раннем творчестве Коласа заметны только отдельные реминисценции художественных исканий Достоевского. Они (повышенное внимание к внутренней жизни человека) заметны в рассказе «Тоўстае палена» [2, с. 28 – 29]. Правда, отмеченные типологические схождения Коласа с Достоевским в моделировании противоречивости внутреннего мира человека исследователь квалифицировал как только *просьбу* о помощи, но никак не пробу творческого соревнования [2, с. 29]. Более успешное освоение Коласом опыта Достоевского И. Чигрин отметил в рассказах советского периода «Стары канакрад», «Сяргей Карага», «Хаім Рыбс» [2, с. 67 – 69]. В первом рассказе поведение героя – «только внешнее прикрытие его внутренней сущности, а характер не менее, чем загадка». Таков герой упомянутого рассказа Петрусь Игнатович – «с какой стороны не разгадывай его: справа, слева, вблизи, издали» [2, с. 67]. Очень сложны и глубоки характеры и в других рассказах: «Хаім Рыбс, і Ваганаў, і Сяргей Карага паводле ўласнай чалавечай сутнасці протыя толькі вонкава, за чым адкрываецца ледзь не бяздонне самога быцця людскога, протыя ў той меры, якая дазваляе сцвярджаць іхнюю індывідуальную непаўторнасць» [2, с. 69]. М. Тычина напомнил только о возможном фрагментарном воздействии традиций Достоевского на дооктябрьскую прозу Коласа. Однако где и как проявлено это воздействие, не указал [3, т.2, с. 370]. Но, исследуя типологические схождения прозы Коласа 20–50-х годов с прозой русских классиков, он констатировал, что рефлексия, потребность в самоанализе, поиски смысла жизни сближают Лобановича не только с Печориным, Болконским, Безуховым, но и Раскольниковым [3, т.3, с. 313]. Состояние глубокого душевного кризиса, который пережил Лобанович после получения известия о смерти одноклассника, сопоставлено с аналогичным мироощущением у героев Ф. Достоевского [3, т.3, с. 312]. Присутствие же творческого опыта Толстого и Достоевского на страницах последних частей трилогии «На ростанях» повышает художественный тонус повествования, сообщает ему, особенно в эпизодах, где запечатана атмосфера бурных интеллектуальных споров персонажей тот полифонизм, которым отмечены философско-психологические интеллектуально-напряженные романы упомянутых классиков русской литературы [3, т.3, с. 351]. М. Тычина напоминает, что поиски путей к родной почве, к народу, родине у потомственного мужика Коласа существенно отличались от аналогичных поисков у русских гениев Толстого и Достоевского [3, т.3, с. 316].

Думается, типологическая взаимность Коласа с Достоевским не сводится только к уже замеченным исследователями фактам и ситуациям. Она и в ранней и в зрелой прозе Коласа многообразна. Начинаящий белорусский писатель уже в ранних своих произведениях преодолевал укорененную в классике XIX века модель человека, детерминированного только социальными условиями, не отвергал и врожденного, наследственного в нем, генетической обусловленности отдельных, особенно отрицательных черт человека. Известно, что первым в русской литературе канон социальной детерминированности человека нарушил Достоевский. «Человек принадлежит обществу. Принадлежит, но не весь», – записал он в своих тетрадах [4, с. 422]. По Достоевскому, следовательно, человек зависит не только от социального происхождения и положения, но и от биологического, врожденного и бессознательного в себе, иначе, своей природы. Это прослеживается в большинстве, если не во всех художественных моделях человека романов Достоевского. Иррациональное, вопреки логике трудовой белорусской семьи, определяет поступки братьев Сымона и Микола, персонажей рассказа «Дзяліцьба». У них изначально врожденная способность

к совершению зла: «Сымон яшчэ змалку паказваў сваю злосць. Раз ён завёўся за нешта з сваёй сястрой Марцэляй. Сымон так узлаваўся, што ўкусиў сястру за живот» [1, т.4, с. 66]. И в других поступках он злостно нарушил общепринятые нормы, кощунственно отнесся к образу Спасителя, уподобляя свои «страдания» страстям Христовым. Второй брат Микола не раз приносил вред своей семье, кочергой разбил все двенадцать икон в избе. За то, что один из ликов святых якобы пренебрежительно посмотрел на него. Персонаж «Трывогі» тоже представлен врожденными свойствами своей природы: «Такога палахлівага і баязлівага чалавека <...> цяжка знайсці. Баіцца ён воўка, баіцца нябожчыкаў, разбойнікаў, чорта» [1, т.4, с. 86].

Врожденные инстинкты, жестокость людей запечатлены в рассказах советской поры «Стары канаград», «Крываваы вір», «У двары пана Тарбецкага», «Балаховец». Склонности природы к определенному роду занятиям – воровству, спекуляции – руководят действиями, определяют жизненное кредо, философию заматерелого конокрада («Стары канаград»). Петрусь Игнатович, даже отбывая наказание верен своей привычке «обворовывать» людей: «Пападзе дзе пачак шылак, зараз жа перавядзе яго на грошы. Дадуць яму старыя недатопкі... прадасць або памяняе на іншую рвань» [1, т.5, с. 9]. Склонность к воровству, по мнению Игнатовича, не остановит человека даже перед угрозой смертной казни. И старый конокрад эту истину подтверждает историей другого конокрада: «Таксама сядзеў за коні ... кляўся, прысягаў, што кіне гэты інтэрэс. А абы выйшаў на волю, дык жыць не можа, каб не ўкрасці. Дык гэтакі пабаіцца смерці?.. Гэта проста – хвароба ўжо такая...» [1, т.5, с. 11].

Негативные склонности человеческой природы, показывает Колас, проявляются особенно тогда, когда человек безнаказанно властвует над другими людьми, или же в периоды безвластия, что наблюдалось во время гражданской войны в России. Тогда крестьяне жестоко расправлялись с отпрысками прежних владельцев барских усадеб, рушили господские дома. Пример такого проявления биологического инстинкта мести в рассказе «Кровавый водоворот». Крестьяне до основания разгромили усадьбу пана Струкова: «ад пасады яго засталіся толькі слупкі ды падлога, але добрыя людзі пачалі ўжо выдзіраць дошкі з падлогі» [1, т.5, с. 74].

Пусть упомянутый Струков и плохой человек, но все-таки крестьяне себя не оправдывают, признавая отсутствие твердых нравственных основ хотя бы в своих соседях: «Народ тут быў, як зазначаў кожны прамоўца, нікуды няварты, дрэнь народ, і ў той жа час вельмі слаўны, бо калі пагаварыць па чарзе з кожным гаспадаром, то ён выказваў сябе з найлепшага боку, усё можна з ім зрабіць, але ... «народ у нас дурны, халерны народ»» [1, т.5, с. 78 – 79]. В настроении крестьян кровожадность спровоцирована якобы борьбой ради лучшей их доли: «На сяле гутараць мужыкі, што паноў усіх трэба перарэзаць. І паноў і папоў ... пачнецца самае сапраўднае жыццё, калі адны мужыкі застануцца» [1, т.5, с. 81].

Эпоху раздора характеризует сочувствующий народу и увлеченный революцией дворянский отпрыск Гриша Заплатинский: «калі находзіць навалніца, яна не разбірае, дзе палын горкі і дзе пшаніца... Рэвалюцыя – тая ж самая навалніца «Хто вінаваты? Ніхто і ўсе» [1, т.5, с. 83].

В финале сюжета Заплатинского обрекли на незаслуженную им кару, на невинную смерть хорошо знавшие его и, как ни странно, богомольные крестьяне дед Потап и рыбак Мамай, пришедшие в церковь замолить свои грехи, но не захотевшие командиру красноармейского отряда и крестьянам других деревень, входивших в этот отряд, рассказать истинную правду о барчуке, изъявлявшем желание перейти на сторону революционного народа.

Перерождение Михаила Ивановича Ведеркина из ревностного служаки старого режима в «совслужа» опять же показано через проявление тех сторон человеческой природы, за которые когда-то бывший прокурор, ревностно стоявший на страже закона, жестоко карал людей («Пракурор»). Процесс «перерождения в своей психологии» явлен как следствие потакания потребности человеческой природы к еде, теплу. Ради них Ведеркин в годы послереволюционной разрухи совершал кражи, те грехи, за которые когда-то наказывал обвиняемых. В рассказе «У двары пана Тарбецкага» исследована экзистенция людей 20-х годов ушедшего века, обусловленная свойствами именно их натур, не вписавшихся в знаковые социальные парадигмы новой эпохи. Не потому ли повествователь перечисляет разнообразие не социального, а профессионального статуса персонажей: «Насельніцтва двара пана Тарбецкага было вельмі разнастайнае: прачка Грында, прачка Варакса і яе напалавіну замужняя дачка Анэта, Марыся Шпала, свінабой Вадап'ян, поп Лагода, кравец Самабыль, швачка Самабыліха, шавец Сякач, дацэнт, асістэнт, электрыфікатар, проста тэхнік, хлебпёк і яшчэ іншыя людзі?» [1, т.5, с. 175].

Локальные конфликты в сюжете рассказа обусловлены теми или иными склонностями природы персонажей, реже профессиональными интересами, а не их социальным положением. Норовистость, упрямство, стремление выдержать свою линию поведения присуще почти всем жильцам двора Торбецкого – и прачке Гринде, и свинобою Водопьяну, и портному Самобылю, и его супруге швее Самобылихе, и ассистенту, и доценту. Только поп Лагода выделяется из пестрой массы населения двора Торбецкого. Но и он в своей тихой экзистенциальной норе оказался по причине не порицаемого в те времена сана, а своей природы: «Розум у Лагоды нешырокі і неглыбокі. І вера яго не мае ніякага ґрунту, ніякай апоры» [1, т.5, с. 193]. В душе самого попа, не говоря уже о душах его современников. Унаследовав традицию русского

гения в изображении пестроты человеческих душ, сменяемых мелкими, но амбициозными страстями (напомним хотя бы «подпольного человека» Достоевского), Колас словно сигнализировал ретивым «передельщикам» человека, начавшим свой грандиозный эксперимент в 1917 году, о многочисленных преградах, ожидающих их. Эти преграды – неподвластные прямолинейному идеологическому воздействию непредсказуемые человеческие натуры, представленные хотя бы в пестром конгломерате населения двора Торбецкого... Классовая борьба, идеологическое противостояние, нищета, бесперспективность бытия, показывает Колас в упомянутых рассказах, только усугубляют врожденные склонности людей к свершению зла, побуждают их к массовым злодеяниям, в результате которых гибнут невинные («Кривавы вiр»).

С проблематикой романа Достоевского «Преступление и наказание» перекликается проблематика рассказа «Балаховец». Герой его, раскаявшийся после свершения преступления, прощенный властями, надеялся на милосердие родных и односельчан. Колас с мастерством Достоевского исследует тончайшие нюансы душевного состояния своего героя, *вычеркиваемого* из жизни жестокими ситуациями идеологической конфронтации. Семантическое «разноголосье» хронотопа в экспозиции рассказа (рассвет и тьма, надежда и печаль, покорность судьбе и порыв к новому), как бы «отражает» пестрый наряд персонажа, в котором совмещены различные социальные и исторические коды: «уся постаць невядомага чалавека і адзежа яго насілі на сабе сляды доўгага бадзяння ў дарогах... З шапкі ён змахваў крыху на даўнейшага чыноўніка акцызнага ведамства, па гімнасцёрцы яго можна было прыняць за салдата царскай арміі... на шырокіх плячах сядзела ўнакідку бравэрка мешчаніна сярэдняй рукі, а падпяразана была гімнасцёрка вышчэртаю афіцэрскаю папругаю» [1, т.5, с. 338]. Об инородном бытовом опыте персонажа свидетельствует и способ обучения: «абуўся ён на заграничны лад: падцягнуў шкарпэтки да самых каленяў і прымацаваў да галіфэ» [1, т.5, с. 338].

В биографическом хронотопе персонажа первая мировая война, год плена в Германии, участие в акциях войска Булак-Булаховича. Моральный облик бойцов этого войска, действовавшего на территории Беларуси, был хорошо известен ее народу своим негативом. Упомянутые перипетии биографии наложили отпечаток на ментальность героя. Родная белорусская сельская закваска этой ментальности (честность перед собою, трудолюбие, основательность в решениях и действиях, требовательный самоанализ) проявилась только после того, как Иван Бадзейка совершил ряд преступлений. Именно благодаря лучшим чертам этой ментальности, он решительно вступает на путь исправления своих ошибок, раскаяния и сотрудничества с новой властью. Прозрение заблудшего героя началось на территории Западной Беларуси, оккупированной Польшей. Шести недель пребывания в этом регионе хватило для морального «протрезвления» Бадзейки: «калі пабачыў панскія маёнтки, дзе паны распараджаюцца нашымі братам, як хочучь... стала так агідна, што цвёрда пастанавіў вярнуцца і аддацца ў рукі савецкай улады, якую лічаць лепшай на свеце» [1, т.5, с. 343].

Наделяя героя больной совестью, чуткой, отзывчивой на красоту, устремленной к гармонии души, автор явно симпатизирует ему. Морально очищаясь от скверны содеянного в бандитском прошлом, польщенный прощением от властей, Бадзейка на миг даже «возвышает» себя в собственном восприятии. Но груз прежних грехов перевешивает его добрые дела, поэтому еще рано Ивану высоко поднимать голову: «галаве яго, відаць, няёмка было на такой вышыні, і яна, наперакор Іванавай волі, незаметна хілілася ўніз» [1, т.5, с. 351].

Время возвращения Ивана в родное село в надежде обрести душевный покой, адаптироваться в новой жизни родного края совпали с порой жесткой идеологической конфронтации. Зашоренные ею не только односельчане, но и родной отец не могут простить Ивану его недавнее бандитское прошлое, хоть он за него жестоко осудил себя и заслужил прощение у властей. Все попытки героя завоевать доверие родных и односельчан безуспешны. И это вопреки тому, что Иван хороший работник, мастер плотницкого дела, заботливый сын. Способен он и на нежное глубокое чувство к соседке-красавице Авдольке. Но односельчане, его возлюбленная не доверяют Ивану, его раскаянию. Они забыли о христианском милосердии. Идеологическая конфронтация «выбраковывает» Ивана из так милого ему родного пространства. И в своих последующих поступках виноват не только сам герой, как это утверждал Ю. Пширков. По его мнению, в рассказе изображен «ганебны фінал жыццёвага шляху галоўнага героя... аўтар... асуджае чалавека-індывідуаліста, адшчапенца і здрадніка грамадскіх інтарэсаў <...> людзей, спустошаных і дэградаваных да стану злачынства» [5, с. 312].

Иван шел к своим людям с надеждой, хотел в них найти опору для возрождения, повинившись в своих прежних грехах. Но зашоренные аксиологией противостояния своего и чужого миров односельчане и соотечественники отвернулись от героя, оттолкнули от себя. Состояние неприкаянности, оторванности от своего мира закодировано в хронотопе «дырявого» барака, где коротает ночное время герой, ушедший в город на заработки. Лежа на жестких стружках в холодном бараке, «Иван хоча штось перамагчы ў сабе, а для гэтага трэба знайсці нейкі цвёрды грунт. Думае Иван аб тым, што свет вялікі і прасторны, а яму цесна, месца няма – адзін толькі барачак гэты, стружкі ды палоскі бліскучага неба, што свеціцца праз шчылінку» [1, т.5, с. 359 – 360].

Отныне Космос (небо секулярное и сакральное, святое), широкий мир для Ивана закрыты, их дано герою созерцать через узкие щели барака. Происходящее с ним герой воспринимает не как свою вину, за которую жестоко себя осудил, а как действие чьей-то злой воли: «Ён чуе сваю адарванасць ад свету, ад людзей, ад жыцця і поўную сваю адзіноту, як бы нехта паабрываў усе, яго ніці, што злучалі яго з гэтым светам, людзьмі і жыццём, і выкінуў яго аднаго за іх межы» [1, т.5, с. 361]. У дуба на узком пространстве лужка происходит предпоследняя встреча Ивана с Авдолой. Известно, что в восточнославянской традиции дуб «связан с образом громовержца *Перуна*, служил местом жертвоприношений» [6, с. 160]. Именно у дуба Иван принял окончательное решение в отношении Авдоли, смысл которого ясен для читателя: «Ты будзеш або мая, або нічыя» [1, т.5, с. 364]. Решение это укрепляется после «разборки» на деревенской улице с друзьями жениха Авдоли. С заряженным наганом, «последним» аргументом в эпоху яростной конфронтации, Иван приближается к дому возлюбленной, надеясь и на благополучный исход. Он просит у Авдоли поцелуй возможного примирения и получает резкий отказ.

Произошло непоправимое. Ощущение тьмы, которое постоянно преследовало героя в родных местах после возвращения, обволокло, помутило сознание героя: «Увесь свет захлынуўся цемрадзю, і для Івана не будзе ўжо світання новага дня». Во тьме вершится суровая расправа героя над отказавшей ему во взаимности возлюбленной и собою. Авдоля упала мертвой – головой в сени хаты. Иван же через порог сеней – «галавой на двор», зафиксировав в положении своего тела пространственный вектор выхода из затхлого античеловечного мира конфронтации. Часть вины за трагическую судьбу главного героя, определившей и другие трагедии, ложится на социум времен мировой и гражданской войны, отринувший милосердие. Достоевский исследовал мучительный процесс раскаяния человека в совершенном им преступлении, Колас же – неготовность социума в периоды жесткой идеологической конфронтации простить раскаявшегося человека.

Свои резоны обращения к опыту Достоевского в трилогии «На ростанях». О некоторых из них, отмеченных М. Тычиной, уже упомянуто. То, что человек зависит не только от социального происхождения и положения, но и от биологического, врожденного и бессознательного в себе, прослеживается в большинстве художественных моделей человека в прозе Достоевского. Социальное определяет характеры и действия, духовно-эмоциональный мир многих коласовских персонажей.

Тяготееет социальное и над Лобановичем. Но богатая, незаурядная натура, «незаместимая индивидуальность» его раскрывается во многообразии связей с пространственно-временным континуумом, подвержена природным влиянием, настраивается на ритмы метеорологических стихий, в них сублимирует свои минорные и мажорные настроения. Как и русский классик, Колас не приемлет только социальной детерминации характеров и действий людей. Вопреки отношению к людям этого статуса литературы соцреализма, творят добро в трилогии священники Кирилл, Николай, Владимир, урядник, прозванный Кашеем, казенный лесничий Белявский. Подловчий Баранкевич, по аттестации школьной сторожихи, человек неплохой, отзывчивый сосед, но в семье тиран: «натура ў яго цяжкая <...> часта бедная пані па хатах хавалася, калі ўзбурыцца пан <...> Не даў бог долі беднай пані» [1, т.9, с. 89]. Подловчий загнал в могилу жену, когда старшей дочери было всего девять лет. Колас показал, что в человеке биологическое неискоренимо. Создавая трилогию во времена воинствующего атеизма, Колас делал определенные уступки идеологическому диктату: заставлял основного героя-интеллекта скептически отзываться о церкви и ее служителях, а иных персонажей, как Ивана Перегуда, богохульствовать. Забота Достоевского о религии, как утверждает Ю. Кудрявцев, была заботой «о поддержании нравственности и ничем больше» [7, с. 267]. Как и Достоевский, Колас показывает, что основой нравственности простого народа, белорусских крестьян, была христианская этика. Отвечая на заданный себе вопрос об источнике сил и искренней отзывчивости народной души на чужое горе, повествователь постулирует: «З крыніц свайго гора і цяжкага змагання з жыццём за людскія нравы, з гэтай цэльнасці наіўнай веры ў справядлівасць расплаты на тым свеце за ўсе пакуты на зямлі» [1, т.9, с. 90].

Коласа, как и Достоевского, занимала проблема учителей и учеников [7, с. 289]. Подключенность к этой традиции русского гения в трилогии очевидна во внутреннем монологе-раздумье о роли учителя в активизации личностного начала в ученике, и глубже – праве каждого человека на свободный выбор вектора экзистенции в социуме. Задачу не только школьной, но и социальной педагогики герой Коласа определяет как пробуждение критической мысли: «У гэтым абуджэнні крытычныя думкі Лабановіч бачыў пачаткі таго вялікага сацыяльнага зруху, які павінен пралажыць прасторную дарогу да новых форм жыцця <...> навязваць жа людзям сваю волю, вымагаць ад іх, каб яны рабілі іменна так, а не іначай, мы не маем права, бо хто можа паручыцца за тое, што мы не памыляемся?» [1, т.9, с. 36 – 37]. Достоевский гениально решил эту проблему в «Легенде о Великом инквизиторе».

Коласа особенно привлекала в Достоевском его судьба страдальца. О ней как о примере терпения и жизнестойкости напоминает священник Выгоновской церкви о. Николай, с подвижничеством Достоевского соотнесший хлопоты по благоустройству собственной усадьбы. «Я перанёс, перацярпеў, як Фёдар Міхайлавіч Дастаеўскі» [1, т.9, с. 273]. Колас порой симпатизирует этому священнослужителю-труженику.

Дважды упомянуты Лобановичем фразы Раскольников из романа «Преступление и наказание» о поклонении страданию. Во втором случае в связи с основной жизненной дорогой, избранной героем: «паклонімся дарозе, што прывяла нас да пакуты. Памятаеш у Дастаеўскага? «Я не табе пакланіўся, а тваёй пакуце»» [1, т.9, с. 550].

Типологически переключаясь с упомянутыми традициями Достоевского, наш классик углубил концепцию белоруса, в которой социальное органически сплывилось с особенностями биологического генотипа человека лесного региона в эпоху жесткой идеологической конфронтации. С многострадальной судьбой русского гения, с преобладающей сутью экзистенции его героев Колас соотнес неимоверные трудности торения новой дороги для своего народа белорусским интеллигентом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Колас, Якуб. Збор твораў. у 12-ці т. / Якуб Колас. – Мінск: Беларусь, 1962–1964.
2. Чыгрын, І.П. Рэальнае і магчымае: проза Якуба Коласа / І.П. Чыгрын. – Мінск: Навука і тэхніка, 1991. – 222 с.
3. Тычына, М.А. Якуб Колас / М.А. Тычына // Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей: у 4-х кн. / рэд. В.А. Каваленка [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1994. Кн. 2. 1900–1917 гг. – С. 314 – 377. Кн. 3. 1917–1941 гг. – С. 293 – 351.
4. Достоевский, Ф.М. Достоевский Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради (1860–1881) / Ф.М. Достоевский // Литературное наследство. – М.: Наука, 1971.
5. Пшыркоў, Ю.С. Летапісец свайго народа / Ю.С. Пшыркоў. – Мінск, 1982. – 367 с.
6. Топорков, А.Л. Дуб / А.Л. Топорков // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995. – С. 169 – 171.
7. Кудрявцев, Ю.Г. Три круга Достоевского (Событийное. Социальное. Философское) / Ю.Г. Кудрявцев. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1979. – 344 с.

З.І. Трацяк (Полацк, ПДУ)

ДАСЛЕДАВАННЕ БЕЛАРУСКАГА ПРЫГОЖАГА ПІСЬМЕНСТВА XX СТАГОДДЗЯ Ў КАНТЭКСТЕ ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКОЙ І АМЕРЫКАНСКОЙ ЛІТАРАТУРЫ

На сённяшні дзень кампаратывістыку можна лічыць адным з прыярытэтных накірункаў развіцця беларускага літаратуразнаўства. Як адзначала І. Шаблюўская ў артыкуле «Сусветная літаратура ў беларускім асяроддзі. Праблема рэцэпцыі» нацыянальная навука доўгі час «амаль не ставіла ... родную літаратуру ў кантэкст сусветнай культуры, грунтоўна вывучаліся толькі руска-беларускія, рускія-ўкраінскія сувязі» [1, с. 20]. Каб пацвердзіць гэта палажэнне, дастаткова ўгадаць, што, напрыклад, у 50–60-я гады мінулага стагоддзя выйшлі такія працы, як «Горкі і беларуская літаратура пачатку XX стагоддзя» В. Івашына, «Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі суседніх славянскіх народаў у другой палове XIX стагоддзя» М. Ларчанкі, «Фальклорна-літаратурныя сувязі ўкраінскага і беларускага народаў» П. Ахрыменкі, «Адам Міцкевіч і беларуская літаратура» А. Лойкі, «Роля рускай класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя» В. Барысенкі і В. Івашына. На той момант узаемадзеянне айчыннага пісьменства з іншымі літаратурамі свету заставаліся па-за ўвагай даследчыкаў. Складвалася ўражанне, што ў развіццё кожнай з іх закладзена толькі ёй уласцівая норма [2], а гісторыка-тыпалагічныя і кантактна-генетычныя ўзаемасувязі развіваюцца толькі паміж літаратурамі краін-суседак. Вынікам такога падыходу да вывучэння нацыянальнай праяўнай і паэтычнай спадчыны стала аднабаковасць у інтэрпрэтацыі многіх твораў, абмежаванае ўспрыманне разнастайных літаратурных працэсаў, што непрымальна для даследавання шматгранных эстэтычных з’яў.

Беларускае параўнальна-гістарычнае літаратуразнаўства найбольш актыўна пачынае развівацца з 70-х гадоў XX стагоддзя. З гэтага часу спасціжэнне нацыянальнай літаратуры ў кантэксце сусветнай становіцца надзвычайна актуальным. Прычым беларускія творы пачынаюць параўноўваць не толькі з творами іншых славянскіх аўтараў, а, напрыклад, з кнігамі заходнееўрапейскіх і амерыканскіх пісьменнікаў. Так «з улікам ... узаемаабумоўленасці і ўзаемазалежнасці розных літаратур стала мажлівым зразумець заканамернасці развіцця нацыянальнай літаратуры, яе унікальнасць, адметнасць і адначасова агульналюдскасць» [3, с. 3].

На сучасным этапе адбор літаратурных з’яў і тэкстаў для параўнання ў асноўным ажыццяўляецца па наступных аспектах:

– *культуралагічным*: адбываецца параўнанне гістарычных лёсаў і асноўных этапаў культурнага развіцця, традыцый, тыпаў мастацкага мыслення;